

ОБ ОТЦЕ

*Темна дорога. Высока гора.
Вдали — окно и крыши
черепица.
В том домике живет моя
сестра.
Мой путь далек.
Моей сестре не спится...
Темна дорога
Высока гора.
Выходят звезды в свой
дозор привычный.
Не одинок я. Ждет меня
сестра
в том домике под крышей
черепичной.*

Все осталось. И многотерпеливая дорога, и тихая гора.и домик, печально глядящий на нее глазами окон, и пока еще я сам, сидящий под той самой черепичной крышей. Все осталось. Только нет здесь уже сестры отца Мариам, которая ушла в невозвратное быстрыми и тихими шагами горянки. А Он, словно ужаснувшись тому, что сестра больше не ждет Его, не печалится о Нем здесь, в этом растерявшемся ауле, поспешно, слишком поспешно — с болью, с надрывом, с мукой — бросился вслед за ней в бездну.

Ничто не исчезает без

□□□□□□□□□□□□□□□□ *следа...*

А в душу самовольно, подло вползает: все зря, все напрасно, все бессмысленно - страдания, радости, борьба, неволя, дикое счастье свободы и в результате - сама жизнь. Все слова, все ложь, все бессмыслица - побрякушки, извлеченные на свет прекраснодушными бездельниками?

Да нет же, нет! Никогда! Ни за что! Он был, метался еще до своего земного рождения, прорвался в мир и громко оповестил о себе, ушел и все же остался, как обожаемые им скалы и Людвиг вам Бетховен, как реки, ручьи родимой земли и Федерико Гарсиа Лорка, как бесконечное, бесстрастное небо над Чегемом и Лев Толстой, как подсолнухи у дороги и Винсент ван Гог. Так оно и есть — так должно быть.

Ах, мой Чегем!

А иначе и впрямь на радость мировому злодейству, всегда таящемуся рядом, где-то здесь, недалеко, за углом, все зря, все ни к чему, все мимо души и ума. А тогда чего же ждать-то — не думая, без оглядки, вниз головой в пропасть — и вдребезги неотвратимо. Не статья, не воспоминания, не эссе, это — «плач по тебе, тебе».

Я не пораню твоей души, не воспользуюсь ее беззащитностью, только поднесу к ней ладони и погреюсь в тихом тепле, как у родного очага, и согреюсь — того и довольно.

*Люди, дайте отдохнуть
печали...*

Но я не об этом. Я о том, как маленький, не видевший родины предков мальчик скачет, держась за руку отца, по грязному, жуткому, неповторимому и прекрасному азиатскому базару — татарская орда после Куликова поля,— а знакомый (или незнакомый?) продавец (торговец? купец? лабазник?) дынями кричит им: «Мод даю! Мод даю!» И это неповторимое «мод» вместо «мед» было сокрушительней изощренных неоновых зазываний. А отец смеется и радуется, и покупает этот «мод». И это было счастье. Только мы не знали об этом. Ни он, ни я — ни испытавший ужасы, ни, быть может, стоящий перед ними.

*Я о том, как в те незапамятные времена мальчик спрашивает отца:
— Папа, а где живет снег?
— На небе, сынок.
— А где живет небо? □ □*

И отец молчит, не знает, что ответить, и мучается, и смеется над своей беспомощностью перед таким простым и недвусмысленным вопросом (что-то всегда должно находиться где-то), ведь он не знает, где живет небо. Не знал, но всю жизнь напролет рвался, пробивался к этому самому небу для того, чтобы все-таки понять, «где живет небо». Узнал ли он это хотя бы в самом конце, хотя бы в свой последний мучительный миг? Кто знает, кто знает?

*Нет для него ни неба и
ни скал.*

Я о том, как два брата в той же далекой азиатской стороне сидят за печальным столом и молчат, думая грустную думу. Каждый по-своему, но об одном — о том, что больше всего терзает, о том, что затмило солнце над голо вой. И один брат, обыденно бросив: «Прощай!», открывает дверь и уходит в ночь, в ночь реальную, настоящую, в поздний час, но оказалось намного страшнее и безвыходнее, потому что он ушел в ночь неизвестности, в никуда, в безвозвратность. Так ушел брат отца Муса. Отец с мукой вспоминал об этом. Ему было больно. И непонятно. Вспоминал опять и опять. Видно, его навсегда поразил этот добровольный уход человека во тьму, живого человека в необъятную бездну мироздания, потому что сам он всегда искал солнца и своих людей.

*Как дым, одичавший на
месте бывшего жилья,
как пепел пожара —
печаль по тебе тяжела!..*

«Сотри случайные черты, и ты увидишь — жизнь пре красна!»— сказано Александром Блоком. Да, наверное, так оно и есть. Или нам только хочется, чтобы так оно и было. А поэту, видимо, без веры в это и не жить — или: он не поэт. Но именно им, настоящим поэтам, великим поэтам, и достаются чаще всего муки. Им всегда, во все времена была уготована участь Иова, любимца бога. Но они, подобно библейскому страдальцу, не уставали повторять: «Я верую!» И жестоко расплачивались за свою веру в непоколебимость в ней. Но иногда все же вырывался вздох печали.

*О, черный камень, черный
камень, черный...*

Я знал одного прекрасного художника, талантливого мученика, который обладает такой притчей: «Два ангела пребывают на свете — Черный и Белый. Черный сидит у человека прямо на плече и шепчет: «Жизнь омерзительна, все люди негодяи, будь негодяем и ты — иначе не проживешь. Или повесься». А Белый ангел кротко стоит в стороне и молчит и не говорит ничего, а только тихо улыбается. Так вот, если человек смахнет с плеча Черного ангела и обернется и увидит улыбку Белого, то все поймет и все простит, и простит, и будет счастлив». И я верю в это. А отца, видно, часто терзал Черный ангел, как, впрочем, и всякого истинного художника.

*Знаю, знаю, потом
повторится не раз
шум дождя, шорох листьев и запах коры —
все без нас, как без тех
кто ушел раньше нас.
Но спокойна гора. Помолчим
у горы.*

Но он гнал Черного в шею. И я гоню его прочь, я не хочу его слушать и вижу замечательную улыбку отца - улыбку жемчужных зубов. В сказочной стране Югославии, на берегу лазурной Адриатики, поздно вечером в Цыганском ресторане сидели два поэта - живой Семей Кирсанов и живой Кайсын Кулиев. Поэты, они приехали на фестиваль поэтов и вот в этот вечер пристроились в гости к цыганам. А цыгане, как все цыгане во всех ресторанах мира, пели, плясали. Но только, в отличие от всех прочих цыган нашего времени, у этих, по обычаю их предков, был свой ручной медведь, над которым они всячески измывались: он и плясал, и кланялся, и лапу протягивал за подаванием, только петь не умел. Медведи не умеют петь, даже у цыган. И, как вы думаете, разве может выдержать сердце настоящего кавказца такое издевательство над животным? И сердце Кай сына Кулиева не выдержало, потому что это было сердце не только кавказца — это было еще и сердце поэта. И вот, к восхищению Кирсанова и всей остальной публики, Кайсын Кулиев на все

имевшиеся у него деньги выкупил медведя. Отец повел его куда-то по улицам спящего города, и медведь безропотно трусил за ним, как домашняя болонка. Так они ходили почти до самого утра. По пути им встретилась группа советских туристов. Кто-то из них узнал поэта и с удивлением спросил: «Кайсын, куда вы ведете медведя?» — «На волю» — ответил отец. Но ему, конечно, не суждено было вырваться на волю. Югославия — страна цивилизованная и в гостиницы там медведей не пускают: у них паспортов нет. Так что пришлось отцу утром отпустить с миром бедного медведя, и тот вернулся к цыганам, ведь они тоже знали, что медведей в гостиницы не пускают, и потому всю ночь следили за этой забавной и печальной парой — поэтом и медведем.

...И сердце пронести
Открытым на ладони.

Мы все в детстве, только в детстве, пытаемся нести на ладони сердце - вот оно, берите, не жалко, оно для вас, но его ранят, небрежно роняют в грязь, и, взрослея, мы прячем его за пазуху — навсегда, подальше от чужих рук и глаз. А он нес его открытым — что уколы, порезы, раны — до конца, только так. И (почти невероятное!) сумел материализовать это. Когда в праздничном застолье кто-либо вызывал нежность в его душе — прекрасная женщина или мудрый старец, все равно, он протягивал раскрытую, выгнутую ладонь, ладонь князя Андрея Болконского, кто скажет, что мальчиком он сполна потрудился на земле и ставил на нее бокал вина. И казалось, что это действительно его сердце в бокале искрится и играет в солнечных лучах. Больше так не делал никто, никогда.

*Ах, отец...□□□
...страданья — потом и
несчастья — потом,
пока — только музыки
первоначальность!*

Он, Вагнер, страдал. Он метался и кружился в ярости. А мы, отец, моя жена Оля и я, сидели во дворе в любимых Им креслах-качалках и слушали его страдания. В доме спал мой совсем еще маленький сын Ильяс, проигрыватель стоял во времянке, и, кроме несчастного Вагнера, все вокруг затихло и успокоилось. Был вечер. Я и теперь не понимаю, как, зачем, почему — Вагнер? Раньше были Бетховен, Шопен, Моцарт; может быть, это предчувствие неминуемого конца? Не знаю. Но тогда было счастье— может быть, последнее вместе с отцом — такое же, как тогда, когда мы покупали «мод» в далекие годы в далеком краю. И так же, как мы не знали когда-то, что это счастье, — все узнается потом, издавека,— мы не знали, что несчастье уже близко, совсем рядом, дышит нам в лицо, что оно уже на улицах Нальчика, огни которого видны были из Чегемского двора, и даже обрело свое обличье. Видно об этом подавал нам сигналы бушующий Вагнер, но мы не поняли его. Не поняли...

*Нет ответа. Года как черная вода.
Зимний двор. Белый сад.
Лишь деревья скрипят...*

Нет ответа... И чаще всего на самые нужные, самые кровные вопросы человек и не находит его.

*Мои сыновья и моя родня,
Я умоляю вас,
Лицом к родимой горе меня
Положите в мой смертный час.*

Как жутко уходить в тот страшный путь одинокому. Я страдаю от твоей боли, когда думаю о том, как ты всматривался в то неведомое, что предстояло тебе, а из тьмы проступал мрачный образ, заслоня пространство.
Прощай, прощай, мой отец! Нет, не прощай! До свидания! Мы еще не раз будем говорить с тобой.

*Долго.
Всегда!*

Эльдар Кулиев, 1987 г.

Эльдар КУЛИЕВ

ОБ ОТЦЕ

Темна дорога. Высока гора.

Вдали — окно и крыши

черепица.

В том домике живет моя

сестра.

Мой путь далек.

Моей сестре не спится...

Темна дорога

Высока гора.

Выходят звезды в свой

дозор привычный.

Не одинок я. Ждет меня

сестра

в том домике под крышей

черепичной.

Все осталось. И многотерпеливая дорога, и тихая гора.и домик, печально глядящий на нее глазами окон, и пока еще я сам, сидящий под той самой черепичной крышей. Все осталось. Только нет здесь уже сестры отца Мариам, которая ушла в невозвратное быстрыми и тихими шагами горянки. А Он, словно ужаснувшись тому, что сестра больше не ждет Его, не печалится о Нем здесь, в этом растерявшемся ауле, поспешно, слишком поспешно — с болью, с надрывом, с мукой — бросился вслед за ней в бездну.

Ничто не исчезает без

следа...

А в душу самовольно, подло вползает: все зря, все напрасно, все бессмысленно -

страдания, радости, борьба, неволя, дикое счастье свободы и в результате - сама жизнь. Все слова, все ложь, все бессмыслица - побрякушки, извлеченные на свет прекраснодушными бездельниками?

Да нет же, нет! Никогда! Ни за что! Он был, метался еще до своего земного рождения, прорвался в мир и громко оповестил о себе, ушел и все же остался, как обожаемые им скалы и Людвиг ван Бетховен, как реки, ручьи родимой земли и Федерико Гарсиа Лорка, как бесконечное, бесстрастное небо над Чегемом и Лев Толстой, как подсолнухи у дороги и Винсент ван Гог. Так оно и есть — так должно быть.

Ах, мой Чегем!

А иначе и впрямь на радость мировому злодейству, всегда таящемуся рядом, где-то здесь, недалеко, за углом, все зря, все ни к чему, все мимо души и ума. А тогда чего же ждать-то — не думая, без оглядки, вниз головой в пропасть — и вдребезги неотвратимо.

Не статья, не воспоминания, не эссе, это — «плач по тебе, тебе».

Я не пораню твоей души, не воспользуюсь ее беззащитностью, только поднесу к ней ладони и погреюсь в тихом тепле, как у родного очага, и согреюсь — того и довольно.

Люди, дайте отдохнуть

печали...

Но я не об этом. Я о том, как маленький, не видевший родины предков мальчик скачет, держась за руку отца, по грязному, жуткому, неповторимому и прекрасному азиатскому базару — татарская орда после Куликова поля,— а знакомый (или незнакомый?) продавец (торговец? купец? лабазник?) дынями кричит им: «Мод даю! Мод даю!» И это неповторимое «мод» вместо «мед» было сокрушительней изощренных неоновых зазываний. А отец смеется и радуется, и покупает этот «мод». И это было счастье. Только мы не знали об этом. Ни он, ни я — ни испытавший ужасы, ни, быть может, стоящий перед ними.

Я о том, как в те незапамятные времена мальчик спрашивает отца:

— Папа, а где живет снег?

— На небе, сынок.

— А где живет небо?

И отец молчит, не знает, что ответить, и мучается, и смеется над своей беспомощностью перед таким простым и недвусмысленным вопросом (что-то всегда должно находиться где-то), ведь он не знает, где живет небо. Не знал, но всю жизнь напролет рвался, пробивался к этому самому небу для того, чтобы все-таки понять, «где живет небо». Узнал ли он это хотя бы в самом конце, хотя бы в свой последний мучительный миг? Кто знает, кто знает?

Нет для него ни неба и

ни скал.

Я о том, как два брата в той же далекой азиатской стороне сидят за печальным столом и молчат, думая грустную думу. Каждый по-своему, но об одном — о том, что больше всего терзает, о том, что затмило солнце над голо вой. И один брат, обыденно бросив: «Прощай!», открывает дверь и уходит в ночь, в ночь реальную, настоящую, в поздний час, но оказалось намного страшнее и безвыходнее, потому что он ушел в ночь неизвестности, в никуда, в безвозвратность. Так ушел брат отца Муса. Отец с мукой вспоминал об этом. Ему было больно. И непонятно. Вспоминал опять и опять. Видно, его навсегда поразил этот добровольный уход человека во тьму, живого человека в необъятную бездну мироздания, потому что сам он всегда искал солнца и своих людей.

Как дым, одичавший на

месте бывшего жилья,

как пепел пожара —

печаль по тебе тяжела!..

«Сотри случайные черты, и ты увидишь — жизнь пре красна!»— сказано Александром Блоком. Да, наверное, так оно и есть. Или нам только хочется, чтобы так оно и было. А поэту, видимо, без веры в это и не жить — или: он не поэт. Но именно им, настоящим поэтам, великим поэтам, и достаются чаще всего муки. Им всегда, во все времена была уготована участь Иова, любимца бога. Но они, подобно библейскому страдальцу, не уставали повторять: «Я верую!» И жестоко расплачивались за свою веру в непоколебимость в ней. Но иногда все же вырывался вздох печали.

О, черный камень, черный

камень, черный...

Я знал одного прекрасного художника, талантливого мученика, который обладает такой притчей: «Два ангела пребывают на свете — Черный и Белый. Черный сидит у человека прямо на плече и шепчет: «Жизнь омерзительна, все люди негодяи, будь негодяем и ты — иначе не проживешь. Или повесься». А Белый ангел кротко стоит в стороне и молчит и не говорит ничего, а только тихо улыбается. Так вот, если человек смахнет с плеча Черного ангела и обернется и увидит улыбку Белого, то все поймет и все простит, и простит, и будет счастлив». И я верю в это. А отца, видно, часто терзал Черный ангел, как, впрочем, и всякого истинного художника.

Знаю, знаю, потом

повторится не раз

шум дождя, шорох листьев и запах коры —

все без нас, как без тех

кто ушел раньше нас.

Но спокойна гора. Помолчим

у горы.

Но он гнал Черного в шею. И я гоню его прочь, я не хочу его слушать и вижу замечательную улыбку отца - улыбку жемчужных зубов.

В сказочной стране Югославии, на берегу лазурной Адриатики, поздно вечером в Цыганском ресторане сидели два поэта - живой Семей Кирсанов и живой Кайсын Кулиев. Поэты, они приехали на фестиваль поэтов и вот в этот вечер пристроились в гости к цыганам. А цыгане, как все цыгане во всех ресторанах мира, пели, плясали. Но только, в отличие от всех прочих цыган нашего времени, у этих, по обычаю их предков, был свой ручной медведь, над которым они всячески измывались: он и плясал, и кланялся, и лапу протягивал за подаянием, только петь не умел. Медведи не умеют петь, даже у цыган. И, как вы думаете, разве может выдержать сердце настоящего кавказца такое издевательство над животным? И сердце Кай сына Кулиева не выдержало, потому что это было сердце не только кавказца — это было еще и сердце поэта. И вот, к восхищению Кирсанова и всей остальной публики, Кайсын Кулиев на все имевшиеся у него деньги выкупил медведя. Отец повел его куда-то по улицам спящего города, и медведь безропотно трусил за ним, как домашняя болонка. Так они ходили почти до самого утра. По пути им встретилась группа советских туристов. Кто-то из них узнал поэта и с удивлением спросил: «Кайсын, куда вы ведете медведя?» — «На волю» — ответил отец. Но ему, конечно, не суждено было вырваться на волю. Югославия — страна цивилизованная и в гостиницы там медведей не пускают: у них паспортов нет.

Так что пришлось

отцу утром отпустить с миром бедного медведя, и тот вернулся к цыганам, ведь они тоже знали, что медведей в гостиницы не пускают, и потому всю ночь следили за этой забавной и печальной парой — поэтом и медведем.

...И сердце пронести

Открытым на ладони.

Мы все в детстве, только в детстве, пытаемся нести на ладони сердце - вот оно, берите, не жалко, оно для вас, но его ранят, небрежно роняют в грязь, и, взрослея, мы прячем его за пазуху — навсегда, подальше от чужих рук и глаз. А он нес его открытым — что уколы, порезы, раны — до конца, только так. И (почти невероятное!) сумел материализовать это. Когда в праздничном застолье кто-либо вызывал нежность в его душе — прекрасная женщина или мудрый старец, все равно, он протягивал раскрытую, выгнутую ладонь, ладонь князя Андрея Болконского, кто скажет, что мальчиком он сполна потрудился на земле и ставил на нее бокал вина. И казалось, что это действительно его сердце в бокале искрится и играет в солнечных лучах. Больше так не делал никто, никогда. Ах, отец...

...страданья — потом и

несчастья — потом,

пока — только музыки

первоначальность!

Он, Вагнер, страдал. Он метался и кружился в ярости. А мы, отец, моя жена Оля и я, сидели во дворе в любимых Им креслах-качалках и слушали его страдания. В доме спал мой совсем еще маленький сын Ильяс, проигрыватель стоял во времянке, и, кроме несчастного Вагнера, все вокруг затихло и успокоилось. Был вечер. Я и теперь не понимаю, как, зачем, почему — Вагнер? Раньше были Бетховен,

Шопен, Моцарт; может быть, это предчувствие неминуемого конца? Не знаю. Но тогда было счастье— может быть, последнее вместе с отцом — такое же, как тогда, когда мы покупали «мод» в далекие годы в далеком краю. И так же, как мы не знали когда-то, что это счастье, — все узнается потом, издалека,— мы не знали, что несчастье уже близко, совсем рядом, дышит нам в лицо, что оно уже на улицах Нальчика, огни которого видны были из Чегемского двора, и даже обрело свое обличье. Видно об этом подавал нам сигналы бушующий Вагнер, но мы не поняли его. Не поняли...

Нет ответа. Года как черная вода.

Зимний двор. Белый сад.

Лишь деревья скрипят...

Нет ответа... И чаще всего на самые нужные, самые кровные вопросы человек и не находит его.

Мои сыновья и моя родня,

Я умоляю вас,

Лицом к родимой горе меня

Положите в мой смертный час.

Как жутко уходить в тот страшный путь одинокому. Я страдаю от твоей боли, когда думаю о том, как ты всматривался в то неведомое, что предстояло тебе, а из тьмы проступал мрачный образ, заслоня пространство.

Прощай, прощай, мой отец! Нет, не прощай! До свидания! Мы еще не раз будем говорить с тобой.

Долго.

Всегда!

1987